

Так называемая «обычная жизнь» далеко не всегда богаче художественного воображения и созданного на его основе мира, который существует только в слове. Но память почему-то упрямо тянется не к придуманному, а к настоящему — даже тогда, когда это настоящее давно уже стало минувшим. И снова и снова крутится старое кино: тихое, солнечное июньское утро, заросший муравой наш деревенский двор, грозно привскинувшая крылья белая квочка-ворчунья с вязнущими в густой траве цыплятами-желтышами. Высокое небо — рядом со мной; и в нём, едва не задевая «взбитые», как крылья у квочки, белые облака, парит коричневый коршун. Я, цыплячий пастух, взобравшись на растущую у самого крыльца старую яблоню, слежу за ним сквозь густую листву, но медленно плывущие нездешние облака сбивают, тянут мой взгляд к подёрнутому густым молозивом зноя горизонту. Из летней кухни выходит бабушка. Она отстрепалась, идёт кормить цыплят. Идёт медленно, будто высматривая что-то в зелёной пене спорыша — больная поясница не даёт распрямиться. В правой руке у неё маленькая кастрюлька с цыплячьей сечкой. Кастрюлька без ручек, зажата неловко, через край, дно почти задевает спорыш. Руки у бабушки тяжёлые, тёмные, густо схваченные синей лозой вен. Лицо морщинистое, на скулах и возле рта морщины глубокие, строгие, а около глаз — тонкие, текучие и какие-то молодые. Тонкие морщинки нужны бабушке только для улыбки, и когда она улыбается, мне всегда хочется притронуться к ним — они такие тёплые! Но улыбается бабушка теперь редко.

Сделав несколько шагов, бабушка останавливается и, с трудом подняв голову, долго смотрит ввысь, где недвижная синяя вода несёт куда-то празднично-пухлую, высоко поднявшуюся на весёлых дрожжах июня опару облаков. Бабушка, у которой, несмотря на гнущие её к земле хвори-немощи, домашняя работа с утра до вечера из рук не выпадает, всё стоит, всё смотрит и смотрит, но куда? Глаза её полужакрыты, губы шевелятся почти беззвучно, но я различаю, угадываю так похожие на начало её вечерней молитвы тихие слова: «Святэ лито, святэ литычко...». И слова эти тревожат моё дыхание, дрожат во мне, как слеза на бабушкиной реснице...

Хвороба, схватившая меня за горло в конце мая, наконец, отступила. Маленько оклемавшись, я заметил: июнь — зелёный, густолистый, наливной — уже кончается. Сердце сжалось: я так ждал в этом году лета, торопил дни, строил — «тьфу, тьфу, тьфу!» — осторожные планы, на что-то надеялся. Неужели всё насмарку? Нет, не бывать этому. Начинаю складывать снасти...

«Снасти» сложились только к обеду. Ох, и много же всего набралось! Только удочек разных, для всех видов ловли, полдюжины; а ещё привады-прикормки в хрустящих магазинных пакетах, насадки всякие, палатка, одежда, сапоги, постель, сумка-«холодильник» со съестными припасами, пятилитровая баклажка с водой, внушительных размеров «сазанычий» подсажек, стульчик рыбацкий, креслице раскладное «отдыхательное». Салон «Шевроле-Нивы» — едва ли ни под завязку набит. Перебрал всё мысленно, пересмотрел-перешупал. Вроде всё на месте, ничего не забыл. Усмехнулся: в молодости ездил на рыбалку с ночёвкой на мотоцикле, и всей sprawy было — удочка, рюкзак, телогрейка да плащ-палатка. Но где она теперь, та молодость...

Скорость — что крылья: на недавно отремонтированном, густо чернеющим свежими гудронными пятнами асфальте просторно и пусто; разбегайся — и лети! В Глубоком свернул на грунтовку, к огородам, едва ли не на брюхе переполз изрезанный колеями переезд через ерик и — вот она, пойма! Стёкла опущены, торкаются в щёки радостно вихрастые ветерки, баюкает сердце неторопкой своей речью затравевшая (ни смолы, ни пыли) сонная дорога. До родника луг скошен, только в округлых низинах-сагах высокой тёмно-зелёной водой стоит осока. Около монастырского развилка синим лобастым жуком ползает колёсный трактор. Угол возле зашедшего далеко в луг дубняка уже скошен. Когда подъехал ближе, такое зрелище открылось, что я даже остановился. Вроде не диво — коршуны, но столько сразу, в одном месте! Десятка два, на взгляд, пластают воздух над кошениной, едва не касаясь друг друга широкими крыльями. Вот один резко вниз пошёл и, задев вскользь, будто взмутив свежескошенную траву, стал набирать высоту. В когтистой лапе — тёмный комок. Похоже, что тархтящий неподатлёку механический косарь этих крутоклювых хищников вовсе не пугает. Даже радуется: вон какой изобильный обеденный стол для них накрыл. Прежде, когда луга косили вручную, гнёзда перепёлок и луговых мелких птах старались не зорить, обкашивать, но не всегда это получалось: поди разгляди крошечный птичий домик в травяной гуще. А птенцы, даже подростки, в пере, молчат до последнего. Инстинкт так им велит: затаись, не шевелись. Ну, а о теперешнем и говорить нечего: навесная роторная косилка режет не глядя, подчистую. Могуч и славен он, столь велеречиво воспетый нами железный богатырь-прогресс; но как жалко, что нет у него ни глаз, ни сердца...

Как это в сказках говорят — долго ли, коротко ли... Травяным тоннелем (в низине цветущий осот — в человеческий рост) выскользнула машина к береговому дубам и вязам, запнулась чутко, ища знакомый просвет меж клонящихся к земле ветвей — и вот он, донской обрыв. Укромный, по ночам не раз снившийся. Почти первозданный — варварское племя «отдыхающих», оставляющее после себя чёрные лишаи кострищ да россыпи стеклянno-полиэтиленового мусора, сюда ещё не добралось. Теперь проблема, которой прежде не было: куда машину определить. Наши многоумные парламентарии никак не хотят даром свой хлебушек с маслом есть, и потому трудятся неустанно. А как же, нужно ведь потом отчитаться будет: сколько «внёс», сколько «прошло». То вознамерились было — конечно же, в целях благих — рыбалку платной сделать, едва ли не всю, повсеместно. Но рыболовов в России — не армия даже, а фронт, от моря до моря. Зашевелились, зашумели, чуть ли не окопы начали на берегах рыть. Президент услышал, своих коллег-парламентариев одёрнул: не время, дескать. Ну, так они другим взяли — охранными зонами водоёмов, куда транспорту теперь дорога заказана. И ведь идея-то правильная: порасплодившийся автомобильный люд, к которому и сам я принадлежу, совсем распоясался: на пляжах-отмелях, на отлогих берегах едва ли не в воду на машинах въезжают. Нужно таких наглецов приструнить? Нужно! Вот и приструнили. Да так, что теперь едва ли не за каждым кустом тебя протокол ухмыляющийся поджидает: ага, дескать, попался! Штраф плати! И заплатишь, никуда не денешься. Дороги

у нас все вдоль рек-озер идут, в лучшем случае — в нескольких десятках метров от берега, потому как дальше — то лес-бурелом, то ещё какие-то неудобья. Издревле так ведётся. А нынче ухмыляющаяся буковка пальчиком грозит: а низ-з-зя! На большой реке должен я отмерить от уреза воды 200 метров, а на десяток меньше окажется — уже нарушитель. «Dura lex, sed lex». Закон суров, но это закон. Утверждение сие не нами придумано, и с ним не поспоришь, если закон — справедлив до последней запятой, да к тому же и применяется осмысленно, без перехлёстов. А тут... Даже если рулетку из рук не выпускать, вряд ли это поможет, коль вдоль берега — лес; а если не лес, так овраг или гора. Вообще в такие места не заезжать? А их, мест с таким вот неудобным рельефом — даже у нас, в срединной России — большинство; что же говорить о Сибири, или, скажем, о Кавказе? А ведь можно оговорить все эти вещи в законе, дать мудрое «очеловеченное» толкование, сформировать не «дубинную» правоприменительную практику. Может, со временем так оно и будет, но пока «руление» целиком отдано на усмотрение лица рядового и подневольного — рыбинспектора. Хорошо, если человек понимающий попадётся. На первый раз, может, и простит. Но ведь и с него начальство «палочки» в отчёте требует. И он, болезный, со временем вместо того, чтобы бьющих рыбу электротоком гадов ловить, к охраным этим метрам цепляться станет. Дело-то верное, беспроегрышное, надо только, как говорится, «места знать»...

Солнышко уже не печёт, наискосок сквозь листву пробивается. Я сижу под шатровой кроной старого дуба на высоком берегу, в нескольких метрах от обрыва. Сажу, откинувшись в подаренном детьми «юбилейном» креслице, в заречье смотрю, на верхние и нижние излуки, по-иному, по-мудрёному — созерцаю. Внизу, около воды давно уже место оборудовано, снасти-припасы разложены. Но рыбачить рано: только закинь, мелочь в момент снаряжённые всякими вкусами крючки заголит. Нужно ждать сумерек. Но это тот случай, когда ждать — не в тягость, потому что и само ожидание — часть неостановимого течения жизни. И в этом течении, вроде бы обычном, столько приманчиво-влекущего, нового, прежде почему-то не увиденного.

Глядя на заречные вербы, я представляю, как утром они, широко разбредясь, вольно паслись на росном лугу; а теперь вот, теснимые солнцем, сбились, сгрудились у самой воды — как овцы на солнцепёке.

А белый береговой песок между ними и берегом невольно задевает смущённый мой взгляд, — как когда-то на теле переодевавшейся в вербовых сумерках после купания любимой женщины — незагоревшая полоска...

А лозняки, будто их тоже память палит, клонясь к самой воде, никак не могут до сомлевших своих губ воду донести: больно уж ладошки у них узкие...

Смеркается. Разъехались тормозившие заречные отмели смехом и брызгами купальщики. За вербовой грядой заречья худой сутуловатый дымок замаячил, видно, кто-то из «осёдлых» рыболовов ужин себе готовит. Звякает цепью приехавший на велосипеде местный рыбак, отвязывающий затёрханный, чумазый от смолы «човен»; и вот уже он, с напрягом отталкивая воду длинным веслом — веками отработанным движением, вдоль одного борта, с подворотом под корму — правит через Дон к карчам. Там у него вентери стоят, по-местному — морды. Интересное название, правда? Морда-морда, покажи личико...

Где-то ниже по течению, за излукой, слышатся громкие хмельные голоса, крутой мужской матерок, смех и женские взвизги-возгласы. И жара их не пугает, этих поклонников Бахуса. И подосадуешь на них тяжко, и пожалеешь их тут же: ну что они смогут увидеть здесь, какую такую «природу» — затуманенными хмелем глазами? Что чистого,

живящего душу почерпнуть смогут — зажатым в неверных пальцах липким стаканом? И несёт река — не только вниз, над водою звук широко стелется — если бы песню, если бы грусть да удал, а то ведь одни сальные анекдоты «с картинками». На всю округу, да что там — на весь мир Божий. Разве ему, миру, не обидно? Сейчас о таких «весельчаках» как говорят? — без тормозов, без комплексов. Прежде говорили точнее: ни стыда, ни совести.

А ведь слово наше, любое — эхом ли дальним, тревогой ли ночной, болью неожиданной — откликнется потом, отзовется. Вернувшись, в глаза сблизка глянет — как ты их рукой не закрывай.

С низовьев, из казачьих краёв медленно выламывается из-за леса неровно вырезанная красноватая медь луны с белёсыми вмятинками. Сумерки, уже собравшиеся отступить привычно в темноту, замирают у самой воды, светлея лицом. Неподвижные кончики моих удилиц, просквозив над впитанной руслом звёздной млечностью, уткнулись в заречную отмель. В сухих корнях, виснувших с обрыва, сдавленно, потаённо перекликаются шорохи. От этого зябко спине. Мучительно хочется обернуться, выдохнуть из груди пупырчатую зябкость, крикнуть что-то — ну хотя бессмысленное: «Эй!». Сдерживая себя, поворачиваюсь медленно. И всё равно пугаюсь — откачнувшейся от моего рыболовного стульчика неряшливой тени. И тут же понимаю, что это моя тень: луна стоит с противоположенной стороны, совсем близко, держась за чёрные сучья подмытого давним половодьем вяза. И я опять замираю, вслушиваясь и всматриваясь в ночь. Кто-то неведомый, спрятавшись за меловыми кручами правобережья, медленно тянет на себя звёздный полог. Трудно вместить это в себя сиротливому земному уму, непонятно, необъяснимо: на что тот полог накинута, что его держит?

Один за другим, огибая стороной обжитый мной мысок, сплывают вниз два бобра. Они меня не видят. И вот уже шлёпают где-то рядом, в глубоко прочерченных луной лозняках, будто бельё полощут. Возятся. Хрупают, будто сухарями. Хруп-хруп-хруп — и вершинка лозины качнулась, наклонилась. Хруп-хруп-хруп — и нет её уже, растворилась в лунном свете. И снова — хруп-хруп-хруп...

Качнулся ясно видимый на звёздно-лунном речном олове кончик удилица, кивнул мне и раз, и другой: подсекай! Я, размечтавшийся о бобрах, с подсечкой припоздал, но всё равно на леске — парусящая на течении тяжесть. И вот уже трепыхается в подсачке первая добыча, широко раскрывая уса́тый рот. Соёмкон попался, упёртый, тугой при вываживании, но мелкий, в пару четвертей. Обычно сомята заглатывают насадку глубоко, а этому повезло, крючок в уголке рта. Подношу добычу к воде, разжимаю пальцы: плыви, головастик! И намотай на ус: нельзя тянуть в рот всё что попало. Вредно это для здоровья. ...Только хвостом махнул...

Утро. Дальние отсыревшие голоса. Близкие сазаньи оклики-всплески. Подрагивающее тонкое фидерное удилице — как взволнованный смычок, готовый взлететь, прижав к груди щемящую сердце речную музыку. И вдруг на удилице, на самую его середину, садится куцехвостый зимородок-слёток. В его «капюшоне» и спинной «накидке» совсем мало бирюзы, от шейных белых «фонариков» вдоль крыльев до хвоста — две ясно видимые коричневатые полосы. Да и крылышки, и без того по извечной зимородковой моде короткие, будто обкорнаны нетерпеливой детской рукой, вырезающей картинку-раскраску. Охотник он явно начинающий: сев на удилице, не замер, а крутит головой, перебирает лапками, на меня косится. Но не улетает. Я не шевелюсь, куртка-камуфляжка наверняка помогает мне не выделяться на фоне берега, но дело не только в этом. Просто молодой он, глупыш совсем. Потому и не боится. Ну, сколько между нами — метра

два? А ему — хоть бы хны. Уж сколько мне на рыбалке зимородков приходилось видеть, а такое вот впервые. И я гляжу во все глаза, моргнуть боюсь. Вдруг — порх-буль-порх — и крылатый рыболов, качнув удилище, уже держит в клюве крохотную серебряную ложечку. Хотя навряд ли собрался он чай пить. Косит на меня круглым глазом, будто подначивает: а ты так сможешь? Не смогу, куда мне... А сидит-то он теперь ещё ближе, метрах в полутора. Это, наверное, для того, чтобы я получше разглядел его фокус: пара неуловимых движений клювом — и серебро растворилось, исчезло — то ли в длинном клюве, но ли в воздухе. И снова — порх-буль-порх-порх-порх — и нет его, воздушно-подводного речного артиста. А как же — аплодисменты? Наверное, когда вернётся на поклон...

Затишают разбудившие сонное сердце забияки-сазаны, всё реже, всё дальше от моего мыска ложатся их заполошные всплески, только в глазах, лишь на миг прикроешь веки, всё ещё рвут почти истаявшую утреннюю сумеречь взметнувшиеся над туманной водой звонкие литые брызги. Мелкая речная бель в ближней затиши, как в школьной тетради, старательно выводит робкие свои, почти безголосые, по-ученически неумелые вздоги-«нолики». На тонком, пригнутом к воде кончике запотевшего удилища налилась — вот-вот сорвётся — бесстрашная капля созревшего росного света...

День и ночь — сутки прочь. Неужели сутки? И правда ли, что всего лишь одни неполные сутки? Он так долго и коротко длился, этот праздник-калейдоскоп, в котором видения-картинки — и мысли, и слова — сходились в неповторимые мгновения, перетекали, дробились, торжествовали, восклицали и — рушились, растекались. Назад не прокрутишь. Новый день уже набрал силу, у него столько дел.

Русло несёт дальний моторный гул, скрытые излучкой голоса, криканье надуваемой ножным насосом-лягушкой резиновой лодки. Ветерок клонит заречные камыши, а облитая дробящимся отсветом волн серая цапля застыла недвижно — как отлитый рекой крохотный, в одну тысячную натуральной величины памятник исчезнувшим динозаврам. Скопа, выхватившая за меловой пересыпкой зазевавшегося серебряного жерешка, медленно, на широком махе, возвращается к дому. Гнездо скоп, уже много лет, — здесь, на любимом моём обрыве, в тёмных ветвях старого берегового дуба. И через несколько мгновений я, выронив из глаз этот широкий полёт, услышу рядом, почти у себя над головой шум крыльев и победный орлиный клёкот...

Я сижу всё в том же «подарочном» кресле у самого обрыва, в раскидистой дубовой тени, сморю на реку. Благодарю её. Прощаюсь. Все снасти собраны, все пожитки сложены. Осталось только это кресло. Да ещё — висящее на сучке синее походное полотно и початая баклажка с водой — вымыть руки, умыться перед обратной дорогой.

Даже произнесённые, эти слова — «обратная дорога» — терпкой и тягучей слюной стынут во рту, ломают, клонят книзу уголки губ.

Хотя за ними — только этот сочащийся жёлтым солнечным мёдом медленный день, высоко взбитые редкие белые облака, медленно влекущая машину-лодку глубокая и широкая пойма. Знакомые сёла на высоких приречных супесях, заслонившие реку от кочевых песков рукотворные сосняки, поля зреющей пшеницы, зреющие бахчи. Дом, где меня ждут...

Впрочем, только ли это?

А родительские могилы на тихом кладбище недалекого степного городка — пыльного, знойного, зовущего, знобящего душу?

А заросший муравой двор — отцовский, родовой, до сих пор щекочущий мои бо-  
лые ноги?

А — бабушка?



Она только что отстряпалась, идёт кормить цыплят. Идёт медленно, будто вы-  
сматривая что-то в зелёной пене спорыша — больная поясница не даёт распрямить-  
ся. В правой руке у неё маленькая кастрюлька с цыплячьей сечкой. Кастрюлька без  
ручек, зажата неловко, через край, дно почти задевает спорыш. Руки у бабушки тя-  
жёлые, тёмные, густо схваченные синей лозой вен. Лицо морщинистое, на скулах  
и возле рта морщины глубокие, строгие, а около глаз — тонкие, текучие и какие-то  
молодые. Тонкие морщинки нужны бабушке только для улыбки, и когда она улыба-  
ется, мне всегда хочется притронуться к ним — они такие тёплые!

Жизнь уходит, и теперь уже едва ли не каждый день задевает сердце невесть от-  
куда просочившаяся в грудь холодная слепая тьма, плётушая на ощупь свою липкую  
чёрную паутину. Сердцу нечем дышать, оно трепыхается, вырывается — и паучья  
эта тьма, отступив, вжимается в рёбра, ждёт своего часа. Она не спешит, она знает.  
А сердце... знает ли оно? — и что же, что оно знает? И почему, зачем — так трепыхается,  
так рвётся? И тянется, тянется по-детски из темноты — к простору, к свету...

К спасительному шелесту листвы, к лугам и крылатым обрывам, к дымчатой ласке  
излук. К пойме, доверчивой, распахнутой, как вбирающий каждую твою чёрточку  
взгляд шагнувшей навстречу любящей женщины...

К июню, к высокой его синеве, к невесомо плывущим ромашковым облакам, на-  
гадавшим сегодня кому-то счастье.

К слезинке, благодарно дрогнувшей на пытающихся удержать её ресницах...

К шёпоту тихому, ставшему однажды и навсегда перехватывающим дыхание  
утренним бело-синим воздухом, оберегом твоим и молитвой: «Святэ лито, святэ  
литычко...»

К жизни вечной...

